

**ГЕОРГИЙ ИВАНОВ**

**РАСПАД АТОМА**



**ГЕОРГИЙ ИВАНОВ**

**РАСПАД АТОМА**

**ПАРИЖ 1938**

© «ДОМ КНИГИ»

Я дышу. Может быть, этот воздух отравлен? Но это единственный воздух, которым мне дано дышать. Я ощущаю то смутно, то с мучительной остротой различные вещи. Может быть, напрасно о них говорить? Но нужна или не нужна жизнь, умно или глупо шумят деревья, наступает вечер, льет дождь? Я испытываю по отношению к окружающему смешанное чувство превосходства и слабости: в моем сознании законы жизни тесно переплетены с законами сна. Должно быть, благодаря этому

перспектива мира сильно искажена в моих глазах. Но это как раз единственное, чем я еще дорожу, единственное, что еще отделяет меня от всепоглащающего мирового уродства.

Я живу. Я иду по улице. Я захожу в кафе. Это сегодняшний день, это моя неповторимая жизнь. Я заказываю стакан пива и с удовольствием пью. За соседним столиком пожилой господин с розеткой. Этих благополучных старичков, по моему, следует уничтожать. — Ты стар. Ты благоразумен. Ты отец семейства. У тебя жизненный опыт. А, собака! — Получай. У господина представительная наружность. Это ценится. Какая чепуха: представительная. Если бы красивая, жалкая, страшная, какая угодно. Нет, именно представительная.

В Англии, говорят, даже существует профессия — лжесвидетелей с представительной наружностью, внушающей судьям доверие. И не только внушает доверие, сама неисчерпаемый источник самоуверенности. Одно из свойств мирового уродства — оно представительно.

В сущности, я счастливый человек. То есть, человек, расположенный быть счастливым. Это встречается не так часто. Я хочу самых простых, самых обыкновенных вещей. Я хочу порядка. Не моя вина, что порядок разрушен. Я хочу душевного покоя. Но душа, как взбаломченное помойное ведро — хвост селедки, дохлая крыса, обгрызки, окурки, то ныряя в мутную глубину, то показываясь на поверхность, несутся в перегонки.

Я хочу чистого воздуха. Сладковатый тлен – дыхание мирового уродства – преследует меня как страх.

Я иду по улице. Я думаю о различных вещах. Салат, перчатки ... Из людей, сидящих в кафе на углу, кто-то умрет первый, кто-то последний – каждый в свой точный, определенный до секунды срок. Пыльно, тепло. Эта женщина, конечно, красива, но мне не нравится. Она в нарядном платье идет улыбаясь, но я представляю ее голой, лежащей на полу с черепом, раскроенным топором. Я думаю о сладострастии и отвращении, о садических убийствах, о том, что я тебя потерял навсегда, конечно. «Кончено» – жалкое слово. Как будто, если хорошенько вдуматься слухом, не все слова одинаково жалки и страшны. Жиденькое противо

ядие смысла удивительно быстро перестающее действовать, и за ним глухонемая пустота одиночества. Но что они понимали в жалком и страшном, — они, верившие в слова и смысл, мечтатели, дети, незаслуженные баловни судьбы!

Я думаю о различных вещах и, сквозь них, непрерывно думаю о Боге. Иногда мне кажется, что Бог так же непрерывно, сквозь тысячу посторонних вещей, думает обо мне. Световые волны, орбиты, колебания, притяжения и сквозь них, как луч, непрерывная мысль обо мне. Иногда мне чудится даже, что моя боль частица божьего существа. Значит, чем сильнее моя боль ... Минута слабости, когда хочется произнести вслух — Верю, Господи ... Отрезвление мгновенно вступающее в права после минуты слабости.

Я думаю о нательном кресте, который я носил с детства, как носят револьвер в кармане – в случае опасности он должен защитить, спасти. О фатальной неизбежной осечке. О сиянии ложных чудес, поочередно очаровывавших и разочаровавших мир. И о единственном достоверном чуде – том неистребимом желании чуда, которое живет в людях, несмотря ни на что. Огромном значении этого. Отблеске в каждом, особенно русском сознании.

Ох, это русское, колеблющееся, зыблющееся, музыкальное, онанирующее сознание. Вечно кружашее вокруг невозможного, как мошкара вокруг свечки. Законы жизни, сросшиеся с законами сна. Жуткая метафизическая свобода и физические преграды на каждом шагу. Неисчерпаемый источник превосходства, слабости, гениальных неудач. Ох, странные разновидности наши, слоняющиеся по сей день неприкаянными тенями по свету: англоманы, толстовцы, снобы русские — самые гнусные снобы мира — и разные русские

мальчики, клейкие листочки, и заветный русский тип, рыцарь славного ордена интеллигенции, подлец с болезненно развитым чувством ответственности. Он всегда на страже, он, как ищейка, всюду чует несправедливость, куда угнаться за ним обыкновенному человеку! Ох, наше прошлое и наше будущее, и наша теперешняя покаянная тоска. «А как живо было дитятко»... Ох, эта пропасть ностальгии, по которой гуляет только ветер, донося оттуда страшный интернационал и отсюда туда, жалобное, астральное, точно отпевающее Россию, «Боже, Царя верни»...

Я иду по улице, думаю о Боге, всматриваюсь в женские лица. Вот эта хорошенькая, мне нравится. Я представляю себе, как она подмывается. Расставив ноги, немного подогнув колени. Чулки сползают с колен, глаза где-то в самой глубине бархатно темнеют, выражение невинное, птичье. Я думаю о том, что средняя француженка, как правило, аккуратно подмывается, но редко моет ноги. К чему? Ведь всегда в чулках, очень часто не снимая туфелек. Я думаю о Франции вообще. О девятнадцатом

веке, который задержался здесь. О фиалочках на Мадлен, булках, мокнувших в писуарах, подростках, идущих на первое причастие, каштанах, распространении триппера, серебряном холодке аве Мария. О дне перемирия в 1919 году. Париж бесился. Женщины спали с кем попало. Солдаты влезали на фонари, крича петухом. Все танцевали, все были пьяны. Никто не слышал, как голос нового века сказал: «Горе победителям».

Я думаю о войне. О том, что она, ускоренная, как в кинематографе, сгущенная в экстракт жизнь. Что в несчастьях, постигших мир, война, сама по себе, была не при чем. Толчек, ускоривший неизбежное, больше ничего. Как опаснобольному все опасно, так старый порядок пополз от первого толчка. Большой съел огурец и помер. Мировая

война была этим огурцом. Я думаю о банальности таких размышлений и одновременно чувствую, как тепло или свет, умиротворяющую ласку банальности. Я думаю о эпохе, разлагающейся у меня на глазах. О двух основных разновидностях женщин: либо проститутки, либо гордые тем, что удержались от проституции. О бесчеловечной мировой прелести и одушевленном мировом уродстве. О природе, о том, как глупо описывают ее литературные классики. О всевозможных гадостях, которые люди делают друг другу. О жалости. О ребенке, просившем у рождественского деда новые глаза для слепой сестры. О том, как умирал Гоголь: как его брили, страшали страшным судом, ставили пиявки, насильно сажали в ванну. Я вспоминаю старую колыбельную: «У кота воркота была мачеха лиха».

Я опять возвращаюсь к мысли, что я человек, расположенный быть счастливым. Я хотел самой обычновенной вещи — любви.

С моей, мужской точки зрения ... Впрочем, точка зрения может быть только мужская. Женской точки зрения не существует. Женщина сама по себе, вообще не существует. Она тело и отраженный свет. Но вот ты вобрала мой свет и ушла. И весь мой свет ушел от меня.

Мы скользим пока по поверхности жизни. По периферии. По синим волнам океана. Видимость гармонии и порядка. Грязь, нежность, грусть. Сейчас мы ныряем. Дайте руку, неизвестный друг.

Сердце перестает биться. Легкие отказываются дышать. Мука похожая на восхищение. Все нереально, кроме нереального, все бессмысленно, кроме бессмыслицы. Человек одновременно слепнет и прозревает. Такая стройность и такая путаница. Часть ставшая больше целого – часть все, целое ни что. Догадка что книги, искусство – все равно что описание подвигов и путешествий, предназначенные для тех, кто никогда никуда не поедет и никаких подвигов не совершит. Догадка, что огромная, духовная жизнь разрастается и перегорает в

атоме, человеке, внешне ничем не замечательного, но избранном, единственном, неповторимом. Догадка, что первый встречный на улице и есть этот единственный, избранный, неповторимый. Множество противоречивых догадок, как будто подтверждающих, на новый лад, вечную неосязаемую правду.

**Тайные мечты.** – Скажи, о чем ты мечтаешь тайком и я тебе скажу, кто ты. – Хорошо, я попытаюсь сказать, но расслышишь ли ты меня? Все гладко замуровано, на поверхность жизни не пробьется ни одного пузырька. Атом, точка, глухонемой гений и под его ногами глубокий подпочвенный слой, суть жизни, каменный уголь перегнивших эпох. Мировой рекорд одиночества. – Так ответь, скажи, о чем ты мечтаешь таком там на самом дне твоего одиночества?

История моей души и история мира. Они переплетены, как жизнь и сон. Они срослись и проросли друг в друга. Как фон, как трагическая подмалевка, за ними современная жизнь. Обнявшись, слившись, переплетаясь они уносятся в пустоту со страшной скоростью тьмы, за которой лениво, даже не пытаясь ее догнать, движется свет.

Фанфары. Утро. Великолепный занавес. Никакого занавеса нет. Но желание прочности, плотности так властно, что я чувствую на ощупь его затканый

толстый шелк. Его ткали с утра до вечера голубоглазые мастерицы. Одна была невестой ... Его не ткали нигде. Мимо. Мимо.

Дохлая крыса лежит в помойном ведре, среди окурков, вытрясенных из пепельницы, рядом с ваткой, которой в последний раз подмылась невеста. Крыса была завернута в кусок газеты, но в ведре он, развернувшись, всплыл - можно еще прочесть обрывки позавчерашних новостей. Третьего дня они еще были новостями, окурок дымился во рту, крыса была жива, девственная пле-ва была нетронутой. Теперь все это мешаясь, бесцвечиваясь, исчезая, уничтожаясь, улетает в пустоту, уносится со страшной скоростью тьмы, за которой, как черепаха, даже не пытаясь ее догнать, движется свет.

Лезвие от безопасной бритвы, зацепившись за разбухший окурок, отражает радужный, сквозь помои, солнечный луч и наводит его на морду крысы. Она оскалена, на острых зубах сукровица. Как могло случиться, что такая старая, опытная, осторожная, богобоязненная крыса – не убереглась, съела яд? Как мог министр, подписавший версальский договор, на старости лет провороватьсь из-за девчонки? Представительная наружность, каменный крах-мальный воротничок , командорский крест, «Германия должна платить» и в подтверждение этой аксиомы твердый росчерк на историческом пергаменте, историческим золотым пером. И вдруг девчонка, чулки, коленки, теплое нежное дыхание, теплое розовое влагалище, и ни версальского договора, ни командорского креста, – опозоренный

старик умирает на тюремной койке. Некрасивая респектабельная вдова, кутаясь в креп, уезжает навсегда в провинцию, дети стыдятся имени отца, коллеги в сенате укоризненно-грустно качают плешивыми головами. Но виновник всей этой грязи и чепухи уже опередил ее, опередил давно, опередил еще в ту минуту, когда дверь спальни закрылась за ним, ключ щелкнул, прошлое исчезло, осталась девчонка на широкой кровати, подделанный вексель, блаженство, позор, смерть. Опередив судьбу, он летит теперь в ледяном пространстве и вечная тьма шелестит фалдами его чопорного, старомодного сюртука. Впереди его летят окурки и исторические договоры, вычесанные волосы и отцветшие мировые идеи, сзади другие волосы, договоры, окурки, идеи, плевки. Если тьма донесет его в конце

концов к подножью престола, он не скажет Богу: «Германия должна платить». «О ты, последняя любовь» ... растерянно пролепечет он.

Совокупление с мертвой девочкой.  
Тело было совсем мягко, только холодновато, как после купанья. С напряжением, с особенным наслаждением. Она лежала, как спящая. Я ей не сделал зла. Напротив, эти несколько судорожных минут жизнь еще продолжалась вокруг нее, если не для нее. Звезда бледнела в окне, жасмин доцветал. Семя вытекло обратно, я вытер его носовым платком. От толстой восковой свечи я закурил папиросу. Мимо. Мимо.

Ты уносила мой свет, оставляя меня

в темноте. В тебе одной, без остатка, сосредоточилась вся прелесть мира. А я мучительно жалел, что ты будешь стара, больна, некрасива, будешь с тоской умирать, и я не буду с тобой, не солгу, что ты поправляешься, не буду держать тебя за руку. Я должен был бы радоваться, что не пройду через эту муку. Между тем, здесь заключалось главное, может быть, единственное, что составляло любовь. Ужас при одной этой мысли всегда был звездой моей жизни. И вот тебя давно нет, а она попрежнему светит в окне.

Я в лесу. Страшный, сказочный, снежный пейзаж ничего непонимающей, взволнованной, обреченной души. Банки с раковыми опухолями: кишечник, печень, горло, матка, грудь. Бледные выкидыши в зеленоватом

спирту. в 1920 году в Петербурге этот спирт продавался для питья – его так и звали «младенцовка». Рвота, мокрота, пахучая слизь, проползающая по кишкам. Падаль. Человеческая падаль. Поразительное сходство запаха сыра с запахом ножного пота.

Рождество на северном полюсе.  
Сиянье и снег. Чистейший саван зимы,  
заметающий жизнь.

Вечер. Июль. Люди идут по улице. Люди тридцатых годов двадцатого века. Небо начинает темнеть, скоро пропустят звезды. Звезды тридцатых годов двадцатого века. Можно описать сегодняшний вечер, Париж, улицу, игру теней и света в перистом небе, игру страха и надежды в одинокой человеческой душе. Можно сделать это умно, талантливо, образно, правдоподобно. Но чуда уже сотворить нельзя — ложь искусства нельзя выдать за правду. Недавно это еще удавалось. И вот ...

То, что удавалось вчера, стало сегодня невозможным, неосуществимым. Нельзя поверить в появление нового Вертера, от которого вдруг по всей Европе начнут щелкать восторженные выстрелы, очарованных, упоенных самоубийц. Нельзя представить тетрадку стихов, перелистав которую современный человек смахнет простоявшие сами собой слезы и посмотрит на небо, сощемящей надеждой. Невозможно. Так невозможно, что не верится, что когда-то было возможным. Новые железные законы, перетягивающие мир, как сырую кожу, не знают утешения искусством. Более того, эти, — еще неясные, уже неотвратимые — бездушно справедливые законы, рождающиеся в новом мире или рождающие его, имеют обратную силу: не только нельзя создать нового гениального утешения, уже почти нельзя

утешиться прежним. Есть люди, способные до сих пор плакать над судьбой Анны Карениной. Они еще стоят на исчезающей вместе с ними почве, в которую был вкопан фундамент театра, где Анна, облокотясь на бархат ложи, сияя мукой и красотой, переживала свой позор. Это сиянье почти не достигает до нас. Так чуть-чуть потускневшими косыми лучами – не то последний отблеск утраченного, не то подтверждение, что утрата непоправима. Скоро все навсегда поблекнет. Останется игра ума и таланта, занятное чтение, не обязывающее себе верить и не внушающее больше веры. Вроде Трех Мушкетеров. То, что сам Толстой почувствовал раньше всех, неизбежная черта, граница, за которой – никакого утешения вымыщленной красотой, ни одной слезы над вымыщленной судьбой.

Я хочу самых простых, самых обыкновенных вещей. Я хочу заплакать, я хочу утешиться. Я хочу со щемящей надеждой посмотреть на небо. Я хочу написать тебе длинное прощальное письмо, оскорбительное, небесное, грязное, самое нежное в мире. Я хочу назвать тебя ангелом, тварью, пожелать тебе счастья и благословить, и еще сказать, что где бы ты ни была, куда бы ты ни укрылась — моя кровь мириадом непрощающих, никогда не простягших частиц будет виться вокруг тебя. Я хочу забыть, отдохнуть, сесть в поезд, уехать

Яркий свет и толкотня кафе дают на минуту иллюзию свободы: ты увернулся, ты выскочил, гибель проплыла мимо. Не пожалев двадцати франков, можно пойти с бледной хорошенькой девчонкой, которая медленно проходит по тротуару и останавливается, встретив мужской взгляд. Если сейчас ей кивнуть – иллюзия уплотнится, окрепнет, порозовеет налетом жизни, как прозрачный хлебнувший крови, растянется на десять, двенадцать, двадцать минут.

Женщина. Плоть. Инструмент, из которого извлекает человек ту единственную ноту из божественной гаммы, которую ему дано слышать. Лампочка горит под потолком. Лицо откинуто на подушке. Можно думать, что это моя невеста. Можно думать, что я подпоил девчонку и воровски, впопыхах насилую ее. Можно ничего не думать, содрогаясь, вслушиваясь, слыша удивительные вещи, ожидая наступления минуты, когда горе и счастье, добро и зло, жизнь и смерть скрестятся как во время затмения на своих орбитах готовые соединиться в одно, когда жуткий зеленоватый свет жизни-смерти, счастья-мученья хлынет, из погибшего прошлого, из твоих погасших зрачков.

История моей души и история мира. Они сплелись и проросли друг в друга. Современность за ними, как трагический фон. Семя, которое не могло ничего оплодотворить, вытекло обратно, я вытер его носовым платком. Все таки тут, пока это длилось, еще трепетала жизнь.

История моей души. Я хочу ее воплотить, но умею только развоплощать. Я завидую отделяющему свой слог писателю, смешивающему краски художнику, погруженному в звуки музыканту, всем этим, еще не переведшимся на земле людям чувствительно-бессердечной, дальновзорко-близорукой, общеиз-

вестной, ни на что уже не нужной породы, которые верят, что пластическое отражение жизни есть победа над ней. Был бы только талант, особый творческий живчик в уме, в пальцах, в ухе, стоит только взять кое-что от выдумки, кое-что от действительности, кое-что от грусти, кое-что от грязи, сравнять все это, как дети лопаткой выравнивают песок, украсить стилистикой и воображением, как глазурью кондитерский торт и дело сделано, все спасено, бесмыслица жизни, тщета страданья, одиночество, мука, липкий тошнотворный страх — преобразены гармонией искусства.

Я знаю этому цену и все-таки завидую им: они блаженны. Блаженны спящие, блаженны мертвые. Блажен знаток перед картиной Рембрандта, свято убежденный, что игра теней и света на

лице старухи мировое торжество, перед которым сама старуха ничтожество, пылинка, ноль. Блаженны эстеты. Блаженны балетоманы. Блаженны слушатели Стравинского и сам Стравинский. Блаженны тени уходящего мира, досыпающие его последние, сладкие, лживые так долго баюкавшие человечество сны. Уходя, уже уйдя из жизни, они уносят с собой огромное воображаемое богатство. С чем останемся мы?

С уверенностью, что старуха бесконечно важней Рембрандта. С недоумением, что нам с этой старухой делать. С мучительным желанием ее спасти и утешить. С ясным сознанием что никого спасти и ничем утешить нельзя. С чувством, что только сквозь хаос противоречий можно пробиться к правде. Что приближение возможно только через

искажение. Что на саму реальность нельзя опереться: фотография лжет и всяческий человеческий документ заведомо подложен. Что все среднее, классическое, умиротворенное немыслимо, невозможно. Что чувство меры, как угорь, ускользает из рук того, кто сится его поймать и что эта неуловимость последнее из его сохранившихся творческих свойств. Что когда, наконец, оно поймано – поймавший держит в руках пошлость. «В руках его мертвый младенец лежал»: Что у всех кругом на руках эти мертвые младенцы. Что тому, кто хочет пробраться сквозь хаос противоречий к вечной правде, хотя бы к бледному отблеску ее, остается один единственный путь: пройти над жизнью, как акробат по канату, по неприглядной, растрепанной, противоречивой стенограмме жизни.

Фотография лжет. Человеческий документ подложен. Заблудившись в здании берлинского полицейпрезидиума я случайно попал в этот корridor. Стены были увешены фотографиями. Их было несколько десятков, все они изображали одно. Так этих самоубийц или жертв преступлений застала полиция. Молодой немец висит на подтяжках, башмаки, снятые для удобства, лежат рядом с перевернутым стулом. Старуха: большое пятно на груди, формой напоминающее петуха, — сгусток крови из перерезанного горла. Толстая, голая проститутка с распоротым животом.

Художник, застрелившийся с голоду или несчастной любви или от того и другого вместе. Под развороченным черепом пышный аристократический бант, рядом на мольберте какие-то ветки и облака, неоконченная пачкотня святого искусства. Вытаращенные глаза, закущенные языки, гнусные позы, отвратительные раны и все вместе взятое однобразно, академично, нестрашно. Ни один завиток кишки, вылезший из распоротого живота, ни одна гримаса, ни один кровоподтек не ускользнул от фотографического объектива, но главное ускользнуло, главного нет. Я смотрю и не вижу ничего, чтобы взволновало меня, заставило душу содрогнуться. Я делаю над собой усилие – ничего. И вдруг мысль о том, что ты дышишь здесь на земле, вдруг в памяти, как живое, твоё прелестное бессердечное лицо.

И сразу вижу и слышу все – все горе, всю муку, все напрасные мольбы, все предсмертные слова. Как хрипела с перерезанным горлом старуха, как путаясь в кишках, отбивалась от садиста проститутка, как – точно это был я сам – умирал бездарный , голодный художник. Как лампа горела. Как рассвет светел. Как будильник стучал. Как стрелка приближалась к пяти. Как не решаясь, решившись, он облизнул губы. Как в неловкой, потной руке он сжал револьвер. Как ледяное дуло коснулось пылавшего льда. Как он ненавидел их, остающихся жить, и как он завидывал им.

Я хотел бы выйти на берег моря, лечь на песок, закрыть глаза, ощутить дыхание Бога на своем лице. Я хотел бы начать издалека – с синего платья, с раз-

молвки, с зимнего туманного дня. «На холмы Грузии легла ночная мгла», — такими приблизительно словами я хотел бы говорить с жизнью.

Жизнь больше не понимает этого языка. Душа еще не научилась другому. Так болезненно отмирает в душе гармония. Может быть, когда она совсем отомрет, отвалится, как присохшая болячка, душе станет снова первобытно-легко. Но переход медлен и мучителен. Душе страшно. Ей кажется, что отсыхает она сама. Она не может молчать и разучилась говорить. И она судорожно мычит, как глухонемая, делает безобразные гримасы. «На холмы Грузии легла ночная мгла» — хочет она звонко, торжественно произнести, славя Творца и себя. И, с отвращением, похожим на наслаждение бормочет матерную брань

с метафизического забора, какое-то «дыр бу щыл убещур».

Синее платье, размолвка, зимний туманный день. Тысяча ощущений, безотчетно пробегающих в душе каждого человека. Немногие, получившие права гражданства, вошедшие в литературу, в обиход, в разговор. И остальные, бесчисленные, еще не нашедшие литературного выражения, не отделившиеся еще от утробного заумного ядра. Но от этого ничуть не менее плоские: тысячи невоплощенных банальностей терпеливо ждущих своего Толстого. Догадка, что искусство, творчество в общепринятом смысле, ничто иное, как охота за все новыми и новыми банальностями. Догадка, что гармония, к которой стремится оно, ничто иное, как некая верховная банальность. Догадка, что истинная

дорога души вьется где-то в стороне —  
штопором, штопором — сквозь мировое  
уродство.

Я хочу говорить о своей душе про-  
стыми, убедительными словами. Я  
знаю, что таких слов нет. Я хочу расска-  
зать, как я тебя любил, как я умирал,  
как я умер, как над моей могилой был  
поставлен крест и как время и черви  
превратили этот крест в труху. Я хочу  
собрать горсточку этой трухи, посмот-  
реть на небо в последний раз и с облегче-  
нием дунуть на ладонь. Я хочу разных,  
одинаково неосуществимых вещей —  
опять вдохнуть запах твоих волос на за-  
тылке и еще извлечь из хаоса ритмов тот  
единственный ритм, от которого, как  
скала от детонации, должно рухнуть ми-  
ровое уродство. Я хочу рассказать о че-  
ловеке, лежавшем на разрытой кровя-

ти, думавшем, думавшем, думавшем, — как спастись, как поправить, — не придумавшем, ничего. О том, как он задремал, как он проснулся, как все сразу вспомнил, как вслух точно о постороннем сказал: «Он не был Цезарем. Была у него только эта любовь. Но в ней заключалось все — власть, корона, бессмертие. И вот рухнуло, отнята честь, сорваны погоны». Я хочу объяснить простыми убедительными словами множество волшебных, неповторимых вещей — о синем платье, о размолвке, о зимнем туманном дне. И еще я хочу предостеречь мир от страшного врага, жалости. Я хочу крикнуть так, чтобы все слышали: люди, братья, возмитесь крепко за руки и поклянитесь быть безжалостными друг к другу. Иначе она — главный враг порядка — бросится и разорвет все.

Я хочу в последний раз вызвать из пустоты твоё лицо, твоё тело, твою нежность, твою бессердечность, собрать перемешанное, истлевшее твое и мое, как горсточку праха на ладони, и с облегчением дунуть на нее. Но жалость снова все путает, снова мешает мне. Я опять вижу туман чужого города. Низкий вертит ручку шарманки, обезьянка, дрожа от холода, с блюдечком обходит зевак. Те под зонтиками хмурые, нехотя бросают медяки. Хватит ли на ночлег, чтобы укрыться обнявшись до утра ...

Мне представилось это средь шумного бала — под шампанское, музыку, смех, шелест шелка, запах духов. Это был один из твоих самых счастливых дней. Ты сияла молодостью, прелестью, бессердечностью. Ты веселилась, ты

торжествовала над жизнью. Я взглянул на тебя улыбавшуюся, окруженную людьми. Я увидел: обезьянка, туман, зонтики, одиночество, нищета. И от едкой жалости, как от невыносимого блеска, я опустил глаза.

Содрогание, которое вызывает жалость. Содрогание, переходящее обязательно в чувство мести. За глухого ребенка, за бессмысленную жизнь, за унижения, за дырявые подошвы. Отомстить благополучному миру — повод безразличен. «В ком сердце есть», знает это. Этот почти механический переход от растерянной жалости — «к ужо погодите» — другой форме бессилия. Даже зверьки волновались, шептались, долго сочиняли: «Памфлет-протест» — «Вы, которые котов мучаете». Просили, нельзя ли напечатать в газетах, чтобы всякий прочел.

Зверьки были с нами неразлучны. Они ели из наших тарелок и спали в нашей кровати. Главными из них были два Размахайчика.

Размахайчик Зеленые Глазки был добродушный, ласковый, никому не делавший зла. Серые Глазки, когда подрос, оказался с характером. Он при случае мог и укусить. Их нашли под скамейкой метро, в коробке от фиников. К коробке была приколота записка: Размахайчики, иначе Размахай, иначе Размахайцы. Австралийского происхождения. Просят любить, кормить, водить на прогулку в Булонский лес.

Были и другие зверьки: Голубчик, Жухла, Фрыштик, Китайчик, глупый Цутик, отвечавший на все вопросы одно и то же – «Цутик и есть». Была старая,

грубоватая наружно, но нежнейшая в душе Хамка с куцым рыбьим хвостом. Где-то в стороне, непринимаемый в компанию, наводящий неприязнь и страх во-дился мрачный фон Клоп.

У зверьков был свой быт, свои привычки, своя философия, своя честь, свои взгляды на жизнь. Была у них собственная звериная страна, границы которой, как океан омывал сон. Страна была обширная и не до конца обследованная. Известно было, что на юге живут верблюды, их по пятницам приходит мыть и стричь белая лошадь. На крайнем севере всегда горела елка и стояло вечное Рождество.

Зверьки объяснялись на смешанном языке. Были в нем собственные австралийские слова. Были слова, пере-

деланные на австралийский лад. Так, в письмах они обращались друг к другу «ногоуважаемый» и на конверте писали «его высокоподбородию». Они любили танцы, мороженое, прогулки, шелковые банты, праздники, именины. Они так и смотрели на жизнь: Из чего состоит год? – Из трех сот шестидесяти пяти праздничков. – А месяц? – Из тридцати именин.

Они были славными зверьками. Они, как могли, старались украсить нашу жизнь. Они не просили мороженного, когда знали, что нет денег. Даже, когда им было очень грустно, они танцевали и праздновали именины. Они отворачивались и старались не слушать, когда слышали что-нибудь плохое. – Зверьки, зверьки, нашептывал им по вечерам из щели страшный фон Клоп –

жизнь уходит, зима приближается. Вас засыпет снегом, вы замерзнете, вы умрете, зверьки — вы, которые так любите жизнь. Но они прижимались теснее друг к другу, затыкали ушки и спокойно, с достоинством отвечали — «Это нас не кусается».

Человек бродит по улицам, думает разные вещи, заглядывает в чужие окна. Его воображение работает помимо него. Он сидит к кафе, пьет пиво и читает газету. Прения в палате депутатов. Автомобили в рассрочку. Он дремлет, ему снится чепуха. Чернило пролилось на скатерть. Рыба проплыла – чернило исчезло. Надо закрыть дверь, но ключ не лезет в скважину. Общественное мнение Англии. Циклон. Оказывается рыба и есть ключ, оттого-то он и не подходил. Спящий вдруг просып-

пается. Ни рыбы, ни общественного мнения.

Сидеть в кафе, слоняться по улицам, заглядывать в чужие окна все-таки лучшее утешение, чем Анна Каренина или какая-нибудь мадам Бовари. Следить за влюбленными, которые сидят прижавшись за невыпитым кофе, потом плутают по улицам, наконец, оглянувшись, входят в дешевую гостиницу, тоже, если не больше, чем самые совершенные стихи о любви. «Ходит маленькая ножка, вьется локон золотой». Вот она маленькая ножка стучит по асфальту монмартрского тротуара, вот мелкнул и скрылся золотой локон за стеклянной дверью отеля. Это сегодняшний день, это трепещущее улетающее мгновение моей неповторимой жизни – конечно, разве можно сравнивать,

это выше всех вместе взятых стихов.  
Топот ножки замолк, локон мелькнул и  
исчез за дверью. Постоим, подождем.  
Вот окно зажглось в первом этаже. Вот  
здернулась портьера.

Лакей получил франк на чай и оставил их одних. Лампочка под потолком, пестрые обои, белое эмалевое биде. Может быть, это в первый раз. Может быть, это блаженнейшая в мире любовь. Может быть, Наполеон воевал и Титаник тонул только для того, чтобы сегодня вечером эти двое рядом легли на кровать. Поверх одеала, поверх каменно-застланной простины торопливое, неловкое, бессмертное объятие. Колени в сползающих чулках широко разворочены; волосы растрепаны на подушке, лицо прелестно искажено. О, подольше, подольше. Скорей, скорей.

— Погоди. Знаешь ли ты, что это? Это наша неповторимая жизнь. Когданнибудь, через сто лет, о нас напишут поэму, но там будут только звонкие рифмы и ложь. Правда здесь. Правда этот день, этот час, это ускользающее мгновенье. Никто не раздвигал твоих коленей и вот я на ярком свету, на белой выутюженной простыне, бесцеременно раздвигаю их. Тебе стыдно и больно. Каждая капля твоей боли и стыда входит полным весом в мое беспамятное торжество.

Кто они, эти двое? О, не все ли равно. Их сейчас нет. Есть только сияние, трепещущее во вне, пока это длится. Только напряжение, вращение, сгорание, блаженное перерождение сокровенного смысла жизни. Ледяная вершина мировой прелести, освещенная бег-

лым огнем. Семенные канатики, яичники, прорванная плева, черемуха, развороченные колени, без памяти, звезды, слюна, простыня, жилки дрожат, вдребезги, вдребезги, ы... ы... ы... Единственная нота, доступная человеку, ее жуткий звон. О, подольше, подольше, скорей, скорей. Последние судороги. Горячее семя, стекающее к сокращающейся, выбириющей матке. Желанье описало полный путь по спирали, закинутой глубоко в вечность и вернулось назад, в пустоту. «Это было так прекрасно, что не может кончиться со смертью», записывает после брачной ночи молодой Толстой.

В кафе сидит человек. Обыкновенный человек, ноль. Один из тех, о которых пишут после катастрофы: убито десять, ранено двадцать шесть. Не директор треста, не изобретатель, не Линдберг, не Чаплин, не Монтерлан. Он прочел газету и знает теперь, как настроено общественное мнение Англии. Он допил кофе и зовет гарсона, чтобы расплатиться. Он рассеяно думает, что ему дальше делать – пойти в кинематограф или отложить деньги на лотерейный билет. Он спокоен, он мирно настроен, он спит, ему снится чепуха. И

вдруг, внезапно он видит перед собой черную дыру своего одиночества. Сердце перестает биться, легкие отказываются дышать. Мука, похожая на восхищение.

Атом неподвижен. Он спит. Все гладко замуровано, на поверхность жизни не пробьется ни одного пузырька. Но если его ковырнуть. Пошевелить его спящую суть. Зацепить, поколебать, расщепить. Пропустить сквозь душу миллион вольт, а потом погрузить в лед. Полюбить кого-нибудь больше себя, а потом увидеть дыру одиночества, черную ледяную дыру.

Человек, человек, ноль растерянно смотрит перед собой. Он видит черную пустоту, и в ней, как беглую молнию, непостижимую суть жизни. Тысячи

безымянных, безответных вопросов на мгновение освещаемых беглым огнем и сейчас же поглощаемых тьмой.

Сознание, трепеща, изнемогая, ищет ответа. Ответа нет ни на что. Жизнь ставит вопросы и не отвечает на них. Любовь ставит ... Бог поставил человеку – человеком – вопрос, но ответа не дал. И человек, обреченный только спрашивать, не умеющий ответить ни на что. Вечный синоним неудачи, – ответ. Сколько прекрасных вопросов было поставлено за историю мира и что за ответы были на них даны ...

Два миллиарда обитателей земного шара. Каждый сложен своей мучительной, неповторимой, одинаковой, ни на что не нужной, постылой сложностью. Каждый, как атом в ядро, заключен в

непроницаемую броню одиночества. Два миллиарда обитателей земного шара – два миллиарда исключений из правила. Но в то же время и правило. Все отвратительны. Все несчастны. Никто не может ничего изменить и ничего понять. Брат мой Гете, брат мой консьерж, оба вы не знаете, что творите и что творит с вами жизнь.

Точка, атом сквозь душу которого пролетают миллионы вольт. Сейчас они ее расщепят. Сейчас неподвижное бессилие разрешится страшной взрывчатой силой. Сейчас, сейчас. Уже заколебалась земля. Уже что-то скрипнуло в сваях Эйфелевой башни. Самум мутными струйками закрутился в пустыне. Океан топит корабли. Поезда летят под откос. Все рвется, ползет, плавится, рассыпается в прах – Париж, улица, время, твой образ, моя любовь.

Человек, человечек, ноль сидит с остановившимся взглядом. Подходит лакей, сдает сдачу. Человек переводит дыхание, встает. Он закуривает папиросу, он идет по улице. Его сердце еще не разорвалось, — вот оно по-прежнему бьется в груди. Мировое уродство не рухнуло — вот оно, как скала, по-прежнему подпирает мир.

Синее платье, размолвка, зимний туманный день. Желание говорить, стремление петь — о своей любви, о своей душе. Изойти, захлебнуться простыми, убедительными словами, которых нет...

Как началась наша любовь? Банально, банально. Как все прекрасное началась банально. Вероятно, гармония и есть банальность. Вероятно, на это бессмысленно роптать. Вероятно, для

всех был и есть один единственный путь – как акробат по канату пройти над жизнью по мучительному ощущению жизни. Неуловиму ощущению, которое возникает в последней физической близости, последней недоступности, в нежности разрывающей душу, в потере всего этого навсегда, навсегда. Рассвет за окном. Желанье описало полный путь и ушло в землю. Ребенок зачат. Зачем нужен ребенок? Бессмертия нет. Не может быть бессмертия. Зачем мне нужно бессмертие, если я так одинок?

Рассвет за окном. На смятой простыне в моих руках вся невинная прелесть мира и недоуменный вопрос, что делать с ней. Она божественна, она бесчеловечна. Что же делать человеку с ее бесчеловечным сиянием? Человек это морщины, мешки под глазами, известь в

душе и крови, человек это прежде всего сомнение в своем божественном праве делать зло. «Человек начинается с горя», как сказал какой-то поэт. Кто же спорит. Человек начинается с горя. Жизнь начинается завтра. Волга впадает в Каспийское море. Дыр бу щыл убешур.

Этот день, этот час, эта ускользающая минута. Тысячи таких же дней и минут, одинаковых, неповторимых. Этот перистый парижский закат, тускнеющий у меня на глазах. Тысячи таких же закатов, над современностью, над будущим, над погибшими веками. Тысячи глаз, глядящих с той же надеждой в ту же сияющую пустоту. Вечный вздох мировой прелести: — я отцветаю, я гасну, меня больше нет. «На холмы Грузии легла ночная мгла». И вот она так же ложится на холм Монмартра. На крыши, на перекресток, на вывеску кафе, на полукруг писуара, где с тревожным шумом, совсем, как в Арагве, шумит вода.

Напротив писуара скамейка. На скамейке старик в лохмотьях. Он курит подобранный на панели окурок. У него безразличный дремлющий вид. Но это притворство. Насторожившись, он следит за входящим в то отделение писуара, где на клочке газеты лежит кусок хлеба, набухший от мочи. Вот рабочий с толстой шеей на ходу расстегивает штаны. Широко расставив ноги, он мочится над булкой. Блаженная судорога в душе вшивого старикашки. Сейчас оглянувшись, торопливо подвернув промокшую газету, на которой еще можно прочесть обрывки вчерашних новостей, он унесет эту булку домой. Сейчас, сейчас, — чавкая, запивая красным вином представляя до последних мелочей рабочего с толстой шеей, мальчишку в желтых башмаках, всех, всех пропитавших своей терпкой, теплой мочей эти полкило

*gros pain*. Сейчас, сейчас. Мука, похожая на восхищение, блаженная судорога. Уходя, он что-то бормочет на ходу. Может быть, его глухонемая душа силится промычать на свой лад – «На холмы Грузии»...

Закаты, тысячи закатов. Над Россией, над Америкой, над будущим, над погибшими веками. Раненый Пушкин упирается локтем в снег и в его лицо хлещет красный закат. Закат в мертвекой, в операционной, над океаном, над Альпами, в досчатом лагерном нужнике: все оттенки желтого и коричневого, запятые на стенках, сложная вонь, перебивающая свежестью сквозящей в щели. Новобранец, розовый парень, придерживая одной рукой дверь, поспешно онанирует другой. Задохнувшись, заглушенно вскрикнув, он кончает. С полста-

кана, заливая пальцы липким теплом, спугнув мух, шлепается в коричневое месиво. Лицо парня сереет. Он вяло подтягивает штаны. Так и не удалось вообразить оставленную в деревне невесту. Конечно его убьют на войне, может быть еще в этом году.

Закат над Тамплем. Закат над Лубянкой. Закат в день объявления войны и в день перемирия: все танцевали, все были пьяны, никто не слышал, как голос сказал: Горе победителям. Закат в комнате, где когда-то мы жили с тобой: синее платье лежало на этом стуле.

Петербургский ранний закат давно погас. Акакий Акакиевич пробирается со службы к Обухову мосту. Шинель уже украдена? Или он только мечтает о новой шинели? Потерянный русский человек стоит на чужой улице перед чужим окном и его онанирующее сознание воображает каждый вздох, каждую судорогу, каждую складку на простыне, каждую польсирующую жилку. Женщина уже обманула его, уже растворилась без следа в перистом вечернем небе? Или он только предчувствует встречу с ней? Не все ли равно.

Закат давно погас. Служба давно кончилась. На чердаке у Обухова моста булькает теплое пиво, клубится табачный дым. «Он был титулярный советник, она генеральская дочь» — вкрадчиво, нежно, бархатно вздыхает гитара. Расцветает чердачный канцелярский миф — миф самозащита и противовес ледяному мифу пушкинской ясности. Миф серная кислота, тайная мечта — который эту ясность обезобразит, разъест, растлит.

Акакий Акакиевич получает жалование, переписывает бумаги, копит деньги на шинель, обедает и пьет чай. Но все это только поверхность, сон, чепуха, бесконечно далекая от сути вещей. Точка, душа, неподвижна и так мала, что ее не разглядеть и в самый сильный микроскоп. Во внутри, под непроницае-

мым ядром одиночества, бесконечная нелепая сложность, страшная взрывчатая сила, тайные мечты, едкие, как серная кислота. Атом неподвижен. Он крепко спит. Ему снится служба и Обухов мост. Но если пошевелить его, зацепить, расщепить ...

Генеральская дочка, Психея, ангельчик вбегает, вся в кисее, в кабинет его превосходительства и чернильная крыса, человечек, ноль, раболепная тень в сюртуке с чужого плеча отвещивает ей низкий поклон. Только и всего. Психея пролепечет: *bonjour papa*, поцелует румяную генеральскую щеку, блеснет улыбкой, прошелестит кисеей и упорхнет. И никто не знает, никто не догадывается, какая это видимость, сон, суэта ...

С головой, отуманенной скукой жизни и пивом, под вкрадчивый рокот гитары, Акакий Акакиевич оставляет суету и поверхность и опускается в суть вещей. Тайные мечты обволакивают образ Психеи и мало по малу, его жадная мысль превращается в ее желанную плоть. Преграды, такие непреодолимые днем – падают сами собой. Он неслышно скользит по пустому спящему городу, незамеченный никем входит в темные покой его превосходительства, бесшумной тенью, между статуй и зеркал, по паркетам и коврам пробирается к самой спальне ангельчика. Открывает дверь, останавливается на пороге, видит «рай, какого в небесах нет». Видит ее разбросанное на кресле белье, видит ее сонное лицико на подушке, видит ту скамеечку, на которую она ставит по утрам ножку, надевая на эту ножку белый,

как снег, чулочек. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. И вот ... Ничего, ничего, молчание.

Под рокот гитары, отуманный тайными мечтами, настойчивым, воспаленным, направленным долгие годы в одну точку воображением, он материализует Психею, заставляет ее самое прийти на его чердак, лечь на его кровать. И она приходит, ложится, поднимает кисейный подол, раздвигает голые атласистые коленки. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. Он при встрече работяго кланялся ей, не смея поднять глаз от своих заплатанных сапог. И вот, широко расставив колени, улыбаясь невинной улыбкой ангельчика, она покорно ждет,

чтобы он всласть, вдребезги, вдребезги натешился ею.

«Красуйся град Петров и стой» задорно, наперекор предчувствию, восклицает Пушкин и в донжуанском списке кого только нет. «Ничего, ничего, молчание» бормочет Гоголь, закатив глаза в пустоту, онанируя под холодной простыней.

«Красуйся и стой». На поверхности жизни, в ясных, хотя бы и закатных лучах, как будто и так. Вот Париж стоит же до сих пор. Этим теплым летним вечером он прекрасен. Каштаны, автомобили, мидинетки в летних платьицах. Волшебство вспыхнувших фонарей вокруг безобразнейших в мире статуй. Россьюп цветов на лотках. Сакрэ Кэр на темнеющем небе. Несмотря на пред-

чувство, душа тянется к жизни. Вот она в легких перистых облаках. - «Я увядаю, я гасну, меня больше нет». И совсем, как в Арагве, торжественно, грустно, глухо в писсуаре шумит вода.

Но закат быстро темнеет и ночная мгла еще быстрее овладевает человеком. Она уводит его за собой в такую глубину, что, вернувшись на поверхность, он уже не узнает ее. Но она и не вернется. В черном счастьи, куда все глубже – штопором, штопором – завинчивается душа, зачем ей эта давно поколебленная неколебимость, и ее давно обезображенная красота? Петра выпотрошат из гроба и с окурком в зубах прислонят к стенке Петропавловского собора, под хохот красноармейцев и ничего, не провалится Петропавловский собор. Данtes убьет Пушкина, а Иван

Сергеевич Тургенев вежливенько пожмет руку Дантесу и ничего, не отсохнет его рука. И какое нам дело до всего этого, здесь на самом дне наших душ. Наши одинаковые, разные, глухонемые души — почяли общую цель и — штопором, штопором — сквозь видимость и поверхность завинчиваются к ней. Наши отвратительные, несчастные, одинокие души соединились в одну и штопором, штопором сквозь мировое уродство, как умеют, прорицаются к Богу.

Бледная хорошенькая девчонка замедляет шаги, встретив мужской взгляд. Если ей объяснить, что не любишь делать в чулках, она, ожидая прибавки, охотно вымоет ноги. Немного припухшие от горячей воды, с коротко подстриженными ноготками, наивные, не-привычные к тому, чтобы кто-нибудь на

них смотрел, целовал, прижимался к ним горячим лбом – ноги уличной девчонки обернутся в ножки Психеи.

kbdù—

Сердце перестает биться. Легкие отказываются дышать. Белоснежный чулочек снят с ножки Психеи. Пока медленно, медленно обнажались колено, щиколотка, нежная детская пятка — пролетали годы. Вечность прошла, пока показались пальчики ... И вот — исполнилось все. Больше нечего ждать, не о чем мечтать, не для чего жить. Только голые ножки ангельчика, прижатые к окостеневшим губам и единственный свидетель — Бог. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. И вот, вот ...

Простыня холодная, как лед. Ночь  
мутно просвечивает в окно. Острый  
птичий профиль запрокинут в подуш-  
ках. О, подольше, подольше, скорей,  
скорей. Все достигнуто, но душа еще не  
насытилась до конца и дрожит, что не  
успела насытиться. Пока еще есть вре-  
мя, пока длится ночь, пока не пропел  
петух и атом дрогнув, не разорвался на  
мириады частиц – что еще можно сде-  
лать? Как еще глубже проникнуть в свое  
торжество, в суть вещей, чем еще ее  
ковырнуть, зацепить, ращепить? Пого-  
ди, Психея, постой, голубка. Ты дума-  
ешь это все? Высшая точка, конец, пре-  
дел? Нет, не обманешь.

Тишина и ночь. Голые детские  
пальчики прижаты к окостеневшим гу-  
бам. Они пахнут невинностью, нежно-  
стью, розовой водой. Но нет, нет – не

обманешь. Штопором, штопором вьется жадная страсть, сквозь видимость и поверхность, упоенно стремясь распознать в ангельской плоти мечты свою кровную стыдную суть. — Ты скажи сквозь невинность и розовую воду чем твои белые ножки пахнут, Психея? В самой сути вещей чем они пахнут, ответь? Тем же, что мои, ангельчик, тем же, что мои, голубка. Не обманешь, нет!

И Психея знает: нельзя обмануть. Ее ножки трепещут в цепких жадных ладонях и трепеща отдают последнее, что у ней есть, — самое сокровенное, самое дорогое, потому что самое стыдное: легчайший, эфемерный, и все-таки неуничтожимый никакой прелестью, никакой невинностью, никаким социальным неравенством запах. Тот же,

что от меня, голубка, тот же, что от моих плебейских ног, институточка, ангельчик, белая кость. Значит, нет между нами ни в чем разницы и гнушаться тебе мною нечего: я твои барские ножки целовал, я душу отдал за них, так и ты нагнись, носочки мои протухлые поцелуй. «Он был титулярный советник, она генеральская дочь» ... Что же мне делать теперь с тобой, Психея? Убить тебя? Все равно – ведь и мертвая теперь ты придешь ко мне.

По чужому городу идет потерянный человек. Пустота, как морской прилив, понемногу захлестывает его. Он не противится ей. Уходя, он бормочет про себя – Пушкинская Россия, зачем ты нас обманула? Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?

Тишина и ночь. Полная тишина, абсолютная ночь. Мысль, что все навсегда кончается, переполняет человека тихим торжеством. Он предчувствует, он наверняка знает, что это не так. Но пока длится эта секунда, он не хочет противиться ей. Уже не принадлежа жизни, еще не подхваченный пустотой – он позволяет себе баюкать, как музыке или морскому прибою, смутной певучей лжи.

Уже не принадлежа жизни, еще не подхваченный пустотой ... На самой грани. Он раскачивается на паутинке.

Вся тяжесть мира висит на нем, но он знает — пока длится эта секунда, паутинка не оборвется, выдержит все. Он смотрит в одну точку, бесконечно малую точку, но пока эта секунда длится, вся суть жизни сосредоточена там. Точка, атом, миллионы вольт, пролетающие сквозь него и вдребезги, вдребезги плавящие ядро одиночества.

... Спираль была закинута глубоко в вечность. По ней пролетало все: окурки, закаты, бессмертные стихи, обстриженные ногки, грязь из под этих ногтей. Мировые идеи, кровь, пролитая за них, кровь убийства и совокупления, геммороидальная кровь, кровь из гнойных язв. Черемуха, звезды, невинность, фановые трубы, раковые опухоли, заповеди блаженства, ирония, альпийский снег. Министр, подписавший версаль-

ский договор, пролетел напевая «Германия должна платить» – на его острых зубах застыла сукровица, в желудке просвечивал крысиный яд. Догоняя шинель, промчался Акакий Акакиевич, с птичьим профилем, в холщевых подштанниках, измазанных семенем онаниста. Все надежды, все судороги, вся жалость, вся безжалостность, вся телесная влага, вся пахучая мякоть, все глухонемое торжество ... И тысячи других вещей. Теннис в белой рубашке и купанье в Крыму, снявшиеся человеку, которого в Соловках заедают вши. Разновидности вшей: плотянные, головные и особенные, подкожные, выводимые одной политанью. Политань, пилюли от ожирения, шарики против беременности, ледоход на Неве, закат на Лидо и все описания закатов и ледоходов – в бесполезных книгах литературных класси-

ков. В непрерывном пестром потоке промелькнули синее платье, размолвка, зимний туманный день. Спираль была закинута глубоко в вечность. Разбитой вдребезги, расплавленное уродство, сокращаясь, вибрируя, мчалось по ней. Там, на самой грани, у цели, все опять сливалось в одно. Сквозь вращенье, трепет и блеск, понемногу проясняясь, пропадали черты. Смысл жизни? Бог? Нет, все то же: дорогое, бессердечное, навсегда потерянное твоё лицо.

Если бы зверьки могли знать, в каком важном официальном письме я пользуюсь их австралийским языком, они, конечно, были бы очень горды. Я был бы уже давно мертв, а они бы все еще веселились, приплясывали и хлопали в свои маленькие ладошки.

«Ногоуважаемый господин комиссар. Добровольно, в неособенно трезвом уме, но в твердой, очень твердой памяти я кончу праздновать свои имении. Сам частица мирового уродства, — я не вижу смысла его обвинять. Я хотел бы прибавить еще, перефразируя слова новобрачного Толстого: «это было так бессмыслено, что не может кончиться смертью». С удивительной, неотразимой ясностью я это понимаю сейчас. Но, — опять переходя на австралийский язык, — «это вашего высокоподбородия не кусается».

24 февраля 1937 г.